

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044  
9 770131 604002

# РОМАН №4 2020 ГАЗЕТА

*Анар / Амулет от сглаза*





## АНАР

Анар Расул оглы Рзаев, советский и азербайджанский писатель, режиссёр и сценарист, Народный писатель Азербайджана. Он родился в 1938 году в Баку в литературной семье: его отец Расул Рза и мать Нигяр Рафибейли — известные поэты. У Анара музыкальное и литературное образование, он окончил филологический факультет Азербайджанского Государственного Университета. А затем в Москве — Высшие сценарные и Высшие режиссерские курсы. С 1968 года — главный редактор альманаха искусств «Гобустан». В 1991 году был избран председателем Союза писателей Азербайджана. В 1995–2000 годы депутат Милли Меджлиса (Парламента Азербайджана). За особые заслуги в развитии азербайджанской литературы и культуры награждён Премией Гейдара Алиева (2011).

Перу Анара принадлежит ряд талантливых произведений, затрагивающих, в основном, проблемы современности. Одно из самых популярных и совершенных прозаических сочинений этого автора — повесть «Шестой этаж пятиэтажного дома». Другими не менее интересными произведениями писателя стали «Комната в отеле», «Юбилей Данте», «Черный овен, белый овен»...

По сценариям Анара снято 12 фильмов, из них три фильма сняты им в качестве режиссера. По одному из его рассказов на «Мосфильме» режиссёром С. Самсоновым сделан фильм «Каждый вечер в одиннадцать» (1969).

# 75 Год памяти и славы Великой лет **ПОБЕДЫ**



## Расул Рза

(1910–1981)

### «Наша дивизия»

Я в памяти своей храню доселе  
То, что запечатлелось навсегда:  
Морозный сумрак, голоса метели  
И кровь, подернутую коркой льда.

Шинель седая. Ложа автомата.  
И Терка и Дона берега...  
Даль. Небеса, обложенные ватой,  
И ты идешь на запад, на врага.

Я помню, как среди огня и дыма  
Плыла по лицам ненависти тень;  
Я помню, как глядели нелюдимо  
Развалины сожженных деревень.

Нас пепелища призывали к мести,  
Пожарища чернели на пути,

Заколотые с матерями вместе,  
Казалось, дети просят: «Отомсти!»

Дивизия, идущая к победам,  
Высоко знамя алое держи!  
Твои бойцы, которым страх неведом,  
Захватывают вражьи блиндажи.

Вы доблести исполнены высокой,  
Трепещет враг, едва завидя вас,—  
Свое гнездо так охраняет сокол.  
Как вы оберегаете Кавказ!

Везде прошли Истории солдаты.  
Могучие, везде шагали вы  
Сквозь гром войны, невзгоды и утраты,  
Пред смертью не склоняя головы.

Отважные сыны родной отчизны,  
Вас славят девушки страны моей;  
Народа гордость, знаменосцы жизни,  
Озарены вы зорями идей.



Вы — как таран, сметающий заслоны,  
Вперед стремитесь, недругам грозя;  
Вас славит Таганрог освобожденный,  
Тот милый дом, где Чехов родился.

Исполненные доблести высокой,  
Вы недруга сразили в славный час, —  
Свое гнездо так охраняет сокол,  
Как вы оберегаете Кавказ!

1943 г.

Перевод с азербайджанского Вл. ЛУГОВСКОГО



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

# РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель  
ООО «Роман-газета»

Главный редактор  
Юрий Козлов

Редакционная  
коллегия:  
Дмитрий Белюкин  
Юрий Бондарев  
Семен Борзунов  
Алексей Варламов  
Анатолий Заболоцкий  
Владимир Личутин  
Юрий Поляков

Ответственный  
редактор  
Елена Русакова

Права  
на использование  
товарного знака  
«Роман-газета»  
принадлежат  
ООО «Роман-газета»  
© ООО «Роман-газета», 2020  
Все права защищены

Подписаться  
на журнал «Роман-газета»  
можно в отделениях связи  
и через Интернет:  
[www.gazety.ru](http://www.gazety.ru)

Подписные  
индексы издания:

в каталоге агентства  
«Роспечать»

70782 на полугодие,  
71752 на год;

в объединенном  
каталоге

«Пресса России»  
38915 на полугодие;

в электронном каталоге  
«Почта России»  
П1526 на полугодие

Точка зрения автора может  
не совпадать с позицией  
редакции

2020 №4 /1849/ Основана в 1927 г.

Анар

## Амулет от сглаза

### КОМНАТА В ОТЕЛЕ

Повесть

Октаю Эфендиеву

Оплакивайте бедняг осиротелых, без друга, без звука  
Умирающих в отелях, умирающих в отелях...

Фазиль Наджиб Гысакюрек

Преподаватель бакинского вуза, кандидат филологических наук Керим Аскероглу, внезапно проснувшись, все еще не мог стряхнуть с себя цепкие путы дремы, сжимавшие все его существо, и, разжав слипшиеся ресницы и открыв глаза, он увидел перед собой в просвете между двумя высокими креслами копну каштановых длинных волос и головку мальчугана, уткнувшуюся в плечо женщины. И дальше за ними представляли взору ряды парных кресел, и между ними или из-за спинок женские волосы, мужские шевелюры, затылки, скулы, виски, уши, на самом конце, за рулем — лысая голова шофера, а перед ним, сквозь широкое лобовое стекло — катившееся под колеса автобуса широкое гладкое шоссе.

— Бей эфенди, что изволите — чай или кофе?

Керим, повернув голову направо, поднял глаза на обладательницу этого голоса — юную девушку в голубом блейзере и белой блузке — стюардессу автобуса. Вопрос адресовался не ему, а соседу — читавшему газету «Сабах» мужчине в клетчатом костюме и в очках.

— Пожалуйста, чаю.

Стюардесса, заметившая, что Керим очнулся от дремы, обратилась и к нему:

— Чай или кофе?

— Кофе, — сказал Керим и добавил: — Сахару — умеренно.

Он уже знал, что в Турции, заказывая кофе, надо оговаривать дозу сахара.

— Пожалуйста, — промолвила стюардесса и, налив в чашки чай и кофе, поставила их на складные столики перед пассажирами.

Керим все еще не пришел во вполне бодрствующее состояние. Хотя и эта полусидячая-полулежачая дремота причиняла физический дискомфорт, все же не хотелось отрешаться от ее неги, где исчезало ощущение времени и пространства. Наконец он стал осознавать свое местопребывание и, как бы желая утвердиться в этом осознании, обратился к стюардессе:

— Ханым эфенди... — Ему доставляло явное удовольствие перекинуться словами с этой девушкой — «душенькой», отзывавшейся на каждый вопрос, каждую просьбу с очаровательнейшей гримаской. — Долго ли еще до Стамбула?

— Четыре с половиной часа, — ответила она и улыбнулась.

Керим протер глаза и наконец-таки избавился от засасывающего, как трясина, морока дремы, глотнул кофе и погрузился в созерцание дороги, стлавшейся справа и слева от маячившей впереди лысины водителя.

Зажигалась заря. Утренняя рань майского дня окрашивала окрестность в золотисто-розовое. Но встречные автобусы, легковушки и грузовики еще неслись с зажженными фарами. Кериму вспомнилось, что некогда на дорогах Азербайджана вот так же мчавшиеся спозаранку с непотушенными фарами машины вызывали сравнение с людьми, проводшими бессонную ночь. На ум пришло выражение: «Утро встретил зрячими глазами». Усмехнулся в душе: «Обо мне-то этого не скажешь... Дрых как сурок... Уж не храпел ли?... Чего доброго, сраму не оберешься!!!»

Подумал и украдкой покосился на мужчину в клетчатом пиджаке. А тому до соседа никакого «умура». Он поймал себя на мысли, что недельного пребывания в Турции оказалось достаточным, чтобы стал думать на здешнем турецком языке: нет «умура» — то есть «нет никакого дела». И впрямь, сосед был так увлечен спортивной полосой «Сабаха», что даже забыл о своем чае.

Керим допил кофе и подал чашку стюардессе с неугасимой улыбкой, а та преподнесла ему конвертик. Распечатав конвертик, он извлек из него влажную благоухающую одеколоном салфетку, вытер рот, освежил лицо, и одновременно с ароматом, ударившим в ноздри, кольнуло в сердце. За последние два-три года он уже привык к этим внезапным приступам боли в сердце, но этот одеколонный запах пробудил в нем странное ощущение; будто в мозгу, как мгновенный луч, вспыхнуло и погасло давнее, далекое видение, настолько мимолетная вспышка, что он не успел осознать, что за картина ожила в памяти. Он легонько помассировал грудь, как бы поглаживая все еще покальывающее сердце, словно от этого поглаживания и ласки боль могла уняться. Но это было лишь механической привычкой; Керим знал, что без таблетки, которую держал в нагрудном кармане пиджака, не обойтись. Но принять таблетку не понадобилось — боль утихла так же внезапно, как и возникла, и сердце продолжило всегдашнюю работу неслышными, ровными, спокойными ударами.

Легкое, затаенное чувство тревоги не оставляло его, и причиной тому был аромат, исходивший от «одеколонной» салфетки. Вернее, воспоминание, разбуженное этим ароматом, но не уясненное Керимом.

Сосед по креслу наконец дочитал газету, сложил ее, упрятал в портфель и обратился к нему:

— Вы живете в Стамбуле?

— Нет, — отозвался Керим. — Я — из Азербайджана, живу в Баку.

— Вот как!..

За четыре майских дня девяносто третьего года, проведенных в Анкаре, Керим уже уразумел, в каком русле продолжают подобные диалоги: «Каково сейчас положение в Азербайджане? Очень пережи-

ваю из-за ваших событий... Как же вы отдали Лачин, Шушу? Почему не отстояли? Нет ли какого-нибудь решения этой самой карабахской проблемы?» — он предвидел такие и подобные вопросы. Так как он не знал ответа на многие из них и ему осточертело от бесконечных объяснений, доводов и оправданий, упреждая все расспросы, Керим сам повел разговор:

— Приехал в Анкару для участия в научном конгрессе. Выступил с докладом, по-вашему, «конфрансом». Решил на денек махнуть в Стамбул. Завтра вернусь в Анкару, а оттуда — в Баку. — И, не давая собеседнику возможности вставить в паузу нежелательные вопросы, спросил сам: — А вы — стамбулец?

— Да. В Анкару выбрался на каникулы. Сестра моя живет там.

— Где вы работаете? — вновь задал он вопрос и, удивительно, что сосед не успел и рта раскрыть, как он предугадал ответ: судя по кожаным латкам, пришитым к локтям и воротнику клетчатого пиджака, — такие пиджаки носили, как полагал Керим, одни лишь бухгалтеры, нотариусы, чиновный люд, проводящий большую часть рабочего времени за столом, протирая себе локти. Он не ошибся в догадке.

— Я нотариус... Мне остается год до пенсии.

Керим искал, что бы еще спросить, как нотариус сказал:

— Эфенди, я бы хотел кое о чем спросить у вас. Уж вы извините... Но как же так получается, что наши азербайджанские братья уступают свои города армянам? Лачин, Шушу... Мои предки тоже ведь с Кавказа, Ахалсиха. Эти события очень удручают меня. Как же так, — в Боснии народ сражается до последней капли крови, защищает свои земли. Или у нас, на юго-востоке, — турецкая молодежь костями ложится... Курдов я осуждаю, сепаратисты, их извне подстрекают, но, во всяком случае, и они дерутся, кровь свою проливают, на смерть идут — пусть даже во имя ложной идеи... А азеги без сопротивления, без кровопролития оставляют свои города и все врагу. Ну разве ж такое поведение не вызывает стыд, не заставляет краснеть?

О, господи, сколько раз приходится разжевывать, талдычить одно и то же!

— Вы бывали в Баку?

— Увы, нет, не довелось.

— Приезжайте. Я вас сведу в Аллею шехидов.

«Тогда уж чувство стыда придется испытать вам», — чуть не вырвалось у него, но он не хотел уязвить при первой же беседе человека, которого вовсе не знал, потому смягчил свою мысль:

— Там, при виде сотен могил павших за родную землю шехидов вам не придется стыдиться за своих азербайджанских братьев.

Он словно впервые заметил мохнатые рыжие брови, голубые глаза, крепкую волосатую бородавку на щеке чиновника и, отчего-то решив приводить более обстоятельные доводы, пускаясь в долгие рассуждения, начал говорить о том, что эта война не ограничивается Карабахом и даже не является только лишь

противоборством между Арменией и Азербайджаном, он говорил о тайных происках и явных интересах больших держав. Война ведь, помимо полей сражений, ведется и очень-очень далеко от них, — в столицах сверхдержав, там, где сталкиваются интересы международных концернов, солидных банков, торговцев оружием, нефтью, наркотиками. Он говорил о влиянии армянского лобби в высоких московских, вашингтонских, парижских кабинетах и коридорах власти, о деньгах, богатстве, связях этого лобби, о религиозном факторе, — в который уже раз за эти дни.

— У меня создалось впечатление, что даже в столь дружественной, братской для нас стране, как Турция, армянское лобби сильнее азербайджанского, — добавил он.

Сосед терпеливо выслушал и, когда Керим закончил, произнес:

— Вы, несомненно, правы. Но как бы то ни было, мне думается, что и «война за кресла» в Азербайджане — одна из причин этих событий.

Автобус свернул с шоссе и подкатил к стоянке, где крупными неоновыми буквами светилось название «Варан», — одной из компаний, занимающейся междугородними автобусными перевозками, наряду с «Камил Коч», «Улусой», имеющей свои точки на автострадах, — как успел узнать Керим. На трассе Анкара — Стамбул автобус делал лишь одну остановку, стало быть, полпути позади.

Стюардесса обратилась к пассажирам:

— Пожалуйста, можете выйти. Через полчаса продолжим путь.

Керим, выходя со всеми, почувствовал предутреннюю прохладу и поехал, потянулся вправо, размялся, ощущая, как оживает отекавшее от долгого сидения тело, онемевшие ноги, — кровь веселее побежала по жилам.

— Не хотели бы совершить утренний намаз? — это был густобровый попутчик. — Здесь есть небольшая мечеть для путников.

— Благодарю, — ответил Керим.

Нотариус пожал плечами и зашагал с группой пассажиров к придорожному храму Аллаха. Все — в современной гражданской одежде, в галстуках, и Кериму подумалось, что у прежнего, советского человека, — каковым, несомненно, являлся и он сам, хотя уже и был гражданином новой, суверенной республики, — своя удивительная психология. В минувшие советские времена Керим и мыслившее подобно ему целое поколение произносили такие понятия, как «коммунизм», «пролетарский интернационализм», «империализм», разве что с долей иронии, скепсиса, с оттенком подтрунивания, то есть — они не могли поверить, что эти термины когда-нибудь выражали некую реальность, и воспринимали их как чисто пропагандистскую лексику. А теперь вот, в иной стране он не мог принять всерьез дружный порыв этих интеллигентных господ, шествующих на утренний намаз: может быть, они и были истово верующими, но соблюдение религиозного ритуала в такую рань, при

получасовой попутной стоянке, на Керима произвело впечатление показушности, демонстративности.

«Бедный ты советский человек! — пожурил он себя. — Ни во что веры в тебе не осталось: ни в социализм, ни в религию, ни в Бога, ни в черта... Но ведь миллионы людей веруют либо в одно, либо в другое, либо же еще в нечто, в кого-то и во что-то...»

«Я тоже верю в Аллаха, — ответил он самому себе. — Но вера — интимное, личное чувство, которое лелеют в тайне, какая нужда выставлять ее напоказ внешними ритуалами? Какой прок в этом? Нуждается ли «уджа Танры» — сие великое, недостижимое существо в столь поверхностных изъяснениях чувств?»

Вспомнились давние слова матери: «Поверьте свои сердца Аллахом». Так оно и в самом деле. Если сердце твое в ладах со Всевышним, если ты — Божий человек, наверное, в глазах Творца не столь уж важное значение имеют молитвы, пост, обряды. Как говорят турки: «онемли дейил» («не суть важна»). Он не сожалел, что не отправился в мечеть сотворить намаз. Да и не мог пойти, — не умел совершать молитву. «Что ни говори, а это тоже плоды советского образа жизни и воспитания».

— Вы не из Карса ли, эфенди?

Вопрос, прозвучавший над ухом, исходил от лысого шофера, поливавшего из шланга ветровое стекло.

— Нет, я турок-азери, из Баку.

Шофер отбросил шланг в сторону.

— Рад тебе, брат-азери! Азербайджан — душа наша! Не можете ли сказать, где можно записаться добровольцем в азербайджанскую армию? И я, и оба моих брата рвемся в Азербайджан, чтобы дать прикурить этим армянам!

В ясных серо-зеленых глазах шофера — неподдельный, чистосердечный порыв. Но эти слова, слышанные уже за несколько дней в разных вариантах, прозвучали для Керима как укор, и он, заматав головой, не ответил и направился к одноэтажной «стекляшке» на стоянке. Вошел в туалет, чтобы умыться. Стены, пол, устланные белоснежным кафелем, чистенькие никелированные краны, с сильной струей. Столь же опрятная лавка, кафе, все подметено, прибрано, все сверкает чистотой.

Вспомнились ему придорожные столовые в Азербайджане, минуты, когда рейсовые автобусы останавливались где-нибудь в гуляй-поле, у навесов, продуваемых ветрами, хриплый окрик небритого шофера, заткнувшего концы замызганных штанов в носки, наподобие галифе, в ботинках, не чистенных со времен покупки: «Стоянка пятнадцать минут! Кто опоздает — пусть пеняет на себя! Ждать не будем!»

Столовая с обвалившейся штукатуркой, выцветшие, обшарпанные клеенки на колченогих столах, — облокотиться — прилипнешь, мутные стаканы, треснувшие тарелки, искореженные алюминиевые вилки и ложки, ядовито-зеленые мухи, облепившие открытую сахарницу. (Главное мушиное полчище осаждало мангалы на подворье, возле которых на заляпанной кровью колоде рубили и нарезали мясо.)

И еще — выброшенные тут же, у столовой, в кусты тамариска ребрышки, косточки с так и не разжеванным жестким мясом, и кидающиеся на эту поживу родные собаки... Поодаль — будка уборной, обшитая досками только с трех сторон, да и то с щелями, зловоние, бьющее в нос за полсотню шагов...

Отчего же здесь, где по трассе на дню проходят тысячи легковых машин, люди останавливаются на привал, отдыхают, столуются, — и ни единой мухи, ни одной голодной дворняги, все сияет чистотой? Будут ли у нас когда-нибудь такие же удобные автобусы с мягкими, как подушки на лебяжем пуху, креслами, с рессорами, упруго качающими тебя как в зыбке, такие же гладкие дороги и вдоль них — такие же чистенькие опрятные пристанища?

Керим подошел к прилавку. За стеклами витрин — всевозможная снедь, закуски, фрукты, соки, напитки, чей вид уже говорил, какая это вкуснота, дразнящие аппетит, мягкие, как вата, чуреки.

За доклад на конгрессе ему дали полмиллиона лир. Часть денег ушла на автобусный билет; оставшееся на однодневное пребывание в Стамбуле и расходы на обратную дорогу в Анкару, тысяч десять—пятнадцать он мог себе позволить израсходовать на завтрак.

Как же неожиданно Садяр изменил свое решение! Впрочем, не так уж и неожиданно. Причина была ясна.

Садяр считался руководителем мини-делегации, состоявшей из него самого и Керима, и поначалу никак не хотел, чтобы Керим ехал в Стамбул. А потом чуть ли не настоял: непременно надо.

Ясно, где собака зарыта. Вспомнив о Садяре, он почувствовал и саднящую боль в ступнях: туфли жали. Относительно новые, эти туфли принадлежали Садяру. Садяр прихватил с собой на дорогу две пары (а может и больше) туфель и в первый же день, по прибытии, глянув на обувь Керима, засокрушался:

— Послушай, ты ж солидный человек, что за старье носишь? На вот, бери мои, обуйся!

Керим, было, замылся, стал отнекиваться, но ведь тут и не раскошешься на новые туфли: свои и впрямь пообносились, утиль, можно сказать, зорно в таких на люди выходить.

— Завтра тебе с докладом выступать... Носи мои. В Баку вернешь...

И, чтобы положить конец «интеллигентской щепетильности» Керима, Садяр взял и вышвырнул старые причиндалы Керима с двенадцатого этажа во двор, — когда тот принимал душ...

Керим не знал, возмутиться ли, обидеться или выразить благодарность, удовлетворение. Словом, в конце концов обулся в Садяровы мокасины на полразмера меньше, но понемногу разносились, да вот теперь, поди же, опять жмут, — должно, быть, в автобусе ступни взопрели, раздулись.

В эти дни ему понравилось турецкое блюдо «бойрек» — кусок мяса в тесте. К тому же дешево. Взяв порцию бойрека, стакан айрана, поставил на поднос

и, подойдя к кассе, заплатив двенадцать тысяч лир, сел за столик. Оказывается, здорово проголодался, — с аппетитом съел бойрек, отпил глоток айрана и... снова почувствовал острую боль в сердце. Внезапно из глубинных пластов памяти всплыли клочки воспоминаний — вкусовых ощущений, запахов, видений, переплелись, зацепились друг за друга, и вся эта мозаика памяти обнажилась, как полная улова рыбачья сеть... Вкус айрана... перенес его в полувековую давность, когда он мальцом испил айран в горах Лачина, — в Истису... Вкус айрана повлек за собой и воспоминание о вкусе сюзьмы — творога. Там, в Истису, у войлочных кибиток, между «ян чубугу» и «гядя чубуг» («боковая жердь» и «матерая жердь») была протянута веревка, увешанная бельем, и еще, помнится, висела белая торба, с которой стекали белые капли. Наутро они ели сюзьму, извлеченную из той белой торбы, и та давняя сюзьма по вкусу напоминала сегодняшний айран. Вместе с памятным вкусом всплыли и запахи, оставшиеся на далеком берегу жизни, — душистый запах чабреца, угольных головешек в самоваре, запах можжевеловых дров, потрескивающих в огне; и он понял, что и недавний аромат одеколонной салфетки отозвался в душе запахом цветущей — раскидистой липы... С памятью о вкусе, о запахах оживали в воображении разрозненные картины, сцены, лица из детства.

Только что окончилась война. Отец уже демобилизовался, но еще не вернулся с украинских краев. Летом мама привезла маленького Керима в свой родной город — Шушу, к тете Семае. У Керима сызмала было неладно с почками, и маме посоветовали подлечить мальчика в лачинском Истису.

Отправились на конной арбе — муж Семаи Мурсал (он был за возницу), мама и маленький Керим. Кузов арбы устлал мафрашем и умостили тюфяками, подушками, одеялом — когда у Керима обострились боли, укладывали его в походную постельку. Утихнет боль — и он тут же вскинет голову и глазает с крутой извилистой дороги на распахнувшееся приволье. Вся округа была феерическим царством бьющих, kloкочущих родников, со звонкой, студеной водой, от которой ломило зубы. Он даже поспорил с дядей Мурсалом, что продержит руку в струях родника Айгыр-булаг минуту, но не выдержал и полминуты — пальцы окоченели, хотя и был август, еще, как говорится, овцы не нагуляли жиру. Вокруг низвергались россыпи водопадов, на склонах белели русла высохших ручьев, из-под земли там и сям били струи. С грунтовой дороги, карабкавшейся в горы, виднелась на дне ущелья речка Сабух, изумрудно-искрометная от отражения окрестных лесов, и дядя Мурсал, глядя на вскипавшую на перекатах пену, говорил, что Сабух спешит к реке Хакери, чтобы повесть ему свои заветные тайны. В Истису в трех местах из-под земли била вода, но не студеная, как в прежних родниках, а горячая и целебная, и эта живая вода сулила исцеление маленькому Кериму. Дядя Мурсал опять завел свое: хочешь, мол, поспорим

(любил он спорить); засеки время по маминым часам, когда стрелки совпадут, вот из того ключа забудет фонтан. И впрямь, вода извергалась минуты три-четыре-пять за час, а после унималась.

Мурсал-киши понимал язык природы. Бывало, набежит туча, и Керим с мамой хотят укрыться в войлочном мухуре, а Мурсал говорит: «Не бойтесь, дождя не будет, тучка-то яловая».

— Мурсал-дайи, а зачем ты красную тесьму привязал к той вон балясине?

— Перейму боль твою затем, чтоб ласточка там не гнездилась. Красный цвет ее и отвадит.

Очень любопытна была и «теория наследственности», по дяде Мурсалу: «Такой-то хромал — потому и у козы его детеныши хромоногими народились».

А Семая-хала знала назубок, какая травка, какой цветок против какой хвори помогает. Лечила маленького Керима настоем шиповника, а колики в животе унимала отваром из черенков мушмулы.

Из далеких снов памяти всплыл и вкус тмина, чуть отдававший вкусом маковых зернышек; вкус поджаренной кизиловой луковки, плова с гречишником, сваренного Самаей-халой, напоминавшего на вкус мамин плов, приправленный щавелем, с той разницей, что в плове со щавелем рис оказывался темно-серым, а с гречишником — пышным, белоснежным, зернышко к зернышку.

Мурсал-дайи водил с собой маленького Керима по горному приволью и показывал щедрую земную благодать:

— Вот это лилпэр, всегда к чистой воде тянется, гляди, какие большущие листья у него, а это вот — росянка, в самую жарину у нее роса остается на лепесточках. А этот цветок с желтыми лепестками — лилия, поодаль тоже с желтым венчиком — целебная головчатка, вот норичник, вот — щавель, ну, а этот цветочек — ромашка.

Слышал, наверное, тысячелистник, вот портулак, вот звездчатка... А вот тебе еще лекарство — чистотел, это хорошо знает твоя Семая-хала. Это — мать-и-мачеха, а там дурнишник растет. Вон деревце, что корнями в скалу вцепилось, — каменное дерево... На вот, пожуй эту травку, зубки прочисть... — И Мурсал-дайи протягивал ему пушистый, как бархат, серебристый листочек. — А это держидерево, с его цветов пчелы сок собирают, и мед потому отменный, сладкий получается... Слышишь птичьего голоса? Это кеклики перекликаются... Ты тут поберегись, а то крапива ножки твои обожжет... Гляди на деревья, запоминай: вот — кипарис, вот — тополь, вот — вяз, а эти, кряжистые, — грабы... Вот богатыри наши — дубы. Дуб сперва корни поглубже в землю пускает, а уж потом в рост идет. Лет девять — пятнадцать укореняется, упирается и тянется ввысь, и стоит, и живет — пятьсот лет, тысячу и дольше... А вот липа — царица лесная, и тень от нее — на всю округу, и вода из-под нее всегда хорошая, вдобавок, от липового цвета и мед на славу. Да... под липой и прохлада, и услада, и водицы — не напиток...

«И запахом — не надыхаться... Мир праху твоему, Мурсал-дайи... Вот в какую даль занесло запах цветущей липы, вот где он настиг меня, через полвека, — здесь, на полпути между Анкарой и Стамбулом... и всколыхнул, наваял ворох воспоминаний... Уж сколько лет, как ты покинул мир. И Семая-хала ненадолго пережила тебя... Знали бы вы, какие напасти нагрянули на нас, какие беды стряслись с нами!»

Керим и позднее, во взрослую пору жизни, бывал в лачинских краях, поднимался в горы Сарыбаба, на Эйлаг Гырх-гыз, к озеру Гарагёл, и теперь названия далеких урочищ и отметин родной земли отзывались в памяти будто кто-то нашептывал их на ухо: Яглы-булаг, Гызыл-гая, Кечили-дагы, Пери-чынгылы, Айгыр-гаясы, Шиш-гая, Дашлы-юрд, Кётан-гаясы, Ейвазлы-дагы, Новлу-булаг...

Теперь все эти места были захвачены армянами.

Он взглянул на часы. До отправления автобуса оставалось десять минут. Он вышел из столовой «аквариума», начал прохаживаться. Уже совсем рассвело. Недавние богомольцы уже расселись за столами в столовой.

Керим свернул направо и зашагал к роше между стоянкой и мечетью. Дошел до опушки, заглянул вниз, — сквозь густые заросли проступало и таяло дно долины, где бежала речка. Проступало и таяло потому, что оттуда, с низов, поднимался по крутизне клочковатый туман, местами плотно устилал долину белым ковром. Местами он клубился, густел и полз тяжело, а кое-где вился и взмывал дымчатыми бурунами, оставляя там и сям разрозненные клочья, как взбитая неким гигантским хлыстом шерсть, и в просвет между этими клочьями сиротливо и неприкаянно выглядывали деревья из невидимого густолесья.

Керим провел ладонью по ветви, листьям ближайшего дерева и ощутил влагу, — это была не роса, а след тумана...

...Здесь, на юру, уже была не автобусная стоянка компании «Варан» на автостраде Анкара — Стамбул, а Шуша... И речка, неслышно бежавшая по дну ущелья, подернутого туманом, была речкой Дашалты, и лес, покрывавший склоны, был «Топхана-мешеси», и он, Керим, стоял на плоской площадке Джидырдозю, у пещеры Мелика Шахназара, откуда справа виднелась вершина горы Кирс, а слева — скала Эримгяльди, и еще в дали взору Керима представала гора Багрыган, — один из коллег-этимологов утверждал, что подлинное название ее не Багрыган, а Богра-хан.

Этот клочковатый, изодранный туман вился над Шушинским горным простором, и, не будь этого тумана, можно было бы разглядеть на крутом склоне и старинное убежище — приют Ибрагим-хана. Рассейся этот туман, он бы выискал взглядом и уступчатую крутизну — «Гырх пиллекан»<sup>1</sup> и, спустившись, ступень за ступенью, на дно ущелья, припал бы к пенным струям Дашалты и испил бы воды. Испил бы и из родника Иса-булагы, а повыше от него еще и

<sup>1</sup> «Сорок ступеней».

родник Сулеймана, два родника, но вкус воды у каждого особый, неповторимый. А еще — Туршсу, а еще Ширлан... И зажурчали шушинские ключи, а еще вспомнились их звук и смак — Сахсы-булаг, Ястыбулаг, Чарых-булаг, Секили-булаг.

Слезы душили его. Вспомнилась строка из стихов погибшего в вертолете (Анар предлагал по-азербайджански называть эту машину «дикучар») — журналиста Алы: «Безумно хочется мне разрыдаться...»

Он не был знаком с Алы, видел только по телевизору. Из погибших во время того рокового полета знал только Вели — когда-то их свела работа в архивах. Вели занимался документами, связанными с Наримановым. Благородной души был человек. Мир его праху. Это был «человек Аллаха», как говаривала матушка.

Он вспомнил о матери. Пять лет, как ее не стало, с другой стороны, думалось, Господь смилостивился над ней. Она бы не пережила трагедии Шуши.

И родилась ведь в Шуше. Там и познакомилась с прибывшим в фольклорную экспедицию Аскером — будущим своим мужем — отцом Керима. И свадьбу в Шуше сыграли у Иса-булага. А какие знаменитости пели на торжестве — Хан, Зульфи...<sup>1</sup> Там, в Шуше — могилы деда и бабушки. Там — последний приют Мурсал-дайи и Семаи-хала...

Шуша оживала в душе Керима — пядь за пядью, голосами, звуками, запахами, и ему чудилось веяние прохладного ветра с горы Кирс, ласкающего волосы, лицо, наполняющего грудь свежестью, и казалось, крупные капли слепого дождя орошали его лицо, и он словно ощущал вкус душистого чая, настоящего на чабреце и головчатке, и медовый запах цветущего пшата, и тревожно приятный аромат липы, и мятное, терпкое благоухание холодянки, и до слуха доносилось берущее за душу пение Гадира<sup>2</sup> из сада Хан-гызы<sup>3</sup>. В это мгновение он ощущал Шушу всеми чувствами, всеми фибрами души...

От Семаи-халы осталось трое детей — Адиль, Зарифа, Лятифа. Зарифа перебралась в Баку, а остальные жили в Ходжалы. Они все приезжали почтить память матери Керима, но после траура их связи прервались, и они как-то не удосужились искать встреч.

Двадцатого мая девяносто второго года — Керим крепко запомнил этот день — в квартиру Керима, — он жил в поселке Мусабекова — постучались. На пороге стояла незнакомая женщина. Ее изможденное, увядшее, потемневшее лицо являло следы невообразимых мук и страданий.

— Ты не узнал меня, Керим? Лятифа — я, дочь Мурсал-киши.

Когда разразилась беда в Ходжалы, Керим, услышав об этом, сразу же позвонил Зарифе. Соседи отвели, что ее ударил паралич, отнялась речь, а от

ходжалинской родни нет никаких вестей, вероятно, все погибли. Оказалось, Лятифа жива.

Он ввел в дом, усадил. Воцарилось молчание.

— Как Зарифа?

— Сейчас ничего... — отозвалась Лятифа, медленно, трудно выговаривая слова.

Керим не решался спросить об Адиле. Собрался с духом:

— Адиль?

— Адия... убили армяне... — произнесла Лятифа странно отрешенным, безучастным голосом. Лицо ее казалось окаменевшим. — И Адия, и Кямала... — Добавила: — Я об отце моих детей... То есть одной-единственной дочурки моей. И она... трех лет от роду погибла...

Опять бесконечное, мучительное молчание. Керим, глядя на нее, подумал: «Как изваяние скорби... Одеревеневшее, окаменевшее горе, ходячий памятник погибшей семье...»

Она продолжала все тем же тихим, ничего не выражающим голосом:

— Армяне дали срок — четыре дня, чтобы все покинули Ходжалы... Обманули нас. Через пару часов началась стрельба. И наши, свои, нас обманули... Мы, женщины, порешили пойти на минное поле, сами подорвемся, а танкам нашим дорогу откроем. Не пустили... Обманули... Кямал велел мне с соседкой Бильгеис уйти из села, а мы, мол, останемся и будем биться до конца. Я воспротивилась. Кроху свою, Семаю, вверила Бильгеис, а сама осталась... Сперва они убили Адия, потом и Кямала. Потом дошел слух, что и Бильгеис в лесу подстрелили, но ребенок уцелел. Кинулась в лес, двое суток металась, искала... наконец, нашла... трупик моей Семаи... Не от пули... Замерзла кровиночка моя. Ползла — ползла на четвереньках в снегу, околела — и все... Ручонки сплошь в колючках. Я их, колючки-то, по одной, по одной повибаскивала, могилку вырыла... похоронила деточку мою.

...— Сайын йолчулар, атобуса бинменизи риджа эдийоруз!<sup>4</sup>

Едва сев в кресло, Керим надвинул козырек кепки на глаза, делая вид, что задремал. Ни с кем говорить ему не хотелось. До самого Стамбула ни на минуту не вздремнул.

Когда автобус сделал первую остановку в Стамбуле, сосед потянул его за рукав.

— Бей эфенди, не здесь ли вам сходить?

— Это — Таксим?

— Нет, мой эфенди. До Таксима еще далеко. Это...

Он назвал какое-то местечко, но Керим не расслышал. Главное, уяснил, что не Таксим. Нотариальный чиновник протянул ему визитку.

— Будете в Стамбуле — милости прошу в гости. Буду рад.

«Разве же мы не в Стамбуле? — удивился Керим. — И уж если чаешь меня видеть в гостях, чем не

<sup>1</sup> Хан Шушинский и Зульфи Адыгёзалов.

<sup>2</sup> Гадир Рустамов, известный певец.

<sup>3</sup> Хан-гызы — дочь хана. Так в народе называют Хуршуд бану Натаван — знаменитую поэтессу, классика азербайджанской литературы, дочь последнего карабахского хана.

<sup>4</sup> Уважаемые пассажиры просим вас сесть в автобус! (тур.)

подходящий случай?.. Ну, а если это простая любезность, — и на том спасибо».

Чиновник, извлекая свой «дипломат» с верхней полки, проговорил:

— Уж вы не обессудьте за мои разговоры, если что не так сказал...

Керим кивком головы дал понять, что общение не было ему в тягость.

— Вы, братья-азери, не падайте духом, — чиновник гнул свое. — Мы придем к вам на помощь и избавим от армян!

— Отлично! Вы избавите нас от армян, а мы придем к вам на помощь и избавим от РПК<sup>1</sup>.

Нотариус, не ответив, попрощался кивком головы и сошел с автобуса.

Автобус двинулся дальше, проехав через мост над Босфором, выбрался из Азии в Европу и затормозил на остановке напротив германского консульства.

— Всего доброго, до свидания, — любезно улыбнулась стюардесса.

— Да хранит вас Аллах, — отозвался Керим, перекидывая ремень сумки через плечо.

\* \* \*

Это была первая встреча Керима со страной, которую он мечтал увидеть всю жизнь, которой грезил долгие годы и знал ее лишь понаслышке, по радиопередачам, попадавшимися от случая к случаю в руки книгам, журналам и газетам. У коллег, в последние годы зачистивших в Турцию, ездивших туда, как ходят по воду, он попросил привезти ему подробную карту Стамбула и вывесил ее у себя над кроватью. Первое, что он видел каждое утро, открывая глаза, были части легендарного города, разграниченные Мраморным морем, Босфором, Халичем, и он твердил, как стихи, названия этих зон и других районов Стамбула: Фенербахча, Гаракей, Гадикей, Усгюдар, Бейоглу, Гызылторпаг, Аджибадем, Нишанташ, Бешикташ, Кафаташ, Шишли, Мачка, Мода, Фатех, Лалели, Агсарай, Баязид... — в воображении «шагая» по этим улицам, кварталам, проспектам, «переходил» по мосту Галата из Сиркечи в Гаракей, «садился» на катер и, «проплывая» по Босфору мимо Гыз-гуллеси, вокзала Хейдарпаши, шептал про себя строки Яхьи Кемалы:

Вчера, когда ваш дом взрывался смехом, ваша милость,  
Мне в лодке мимо бухты плыть случилось...

...Мысленно он сходил с судна на пристани Гадикей. На той самой пристани, о которую тоскующий на чужбине Назым Хикмет хотел бы биться, обернувшись волной, когда в «вапор<sup>2</sup> Мемет садился с мамой...» Воображение вело его в парк Гюльхане, где росло ореховое дерево, ностальгически воспетое Назымом: он мысленно бродил по базару Гапалы-чарши, рылся в стеллажах книгопродавцев в Сахафларе, гу-

<sup>1</sup> Подразумеваются курдские сепаратисты, занимающиеся террористической деятельностью.

<sup>2</sup> В а п о р (*тур.*) — пароход, судно.

лял по проспекту Истиглал, пил кофе в пассаже Чичек, дойдя до Таксима, оттуда по узким кривым улочкам спускался на набережную, подходил ко дворцу Долмабахча, и по аллее, («Бульвару туманов», — как называл ее Атилла Ильхан), тянувшейся меж крутых крепостных стен и с другой стороны обставленной домами и заслоненной деревьями, устремлялся к Бешикташу и, как Орхан Вели, замороженно слушал многоголосье «Гапалы-Чарши, и щебетание Махмутпаши, дворы, где голубей полным-полно лотков — на доках — стукотню и аромат весенних ветерков...» — он: «слушал Стамбул с закрытыми глазами»... И вот теперь, когда он не в грезе, а наяву поднимался к площади Таксим, когда он подступал к Центру культуры «Ататюрк», ему показалось, что он уже не однажды бывал в этих местах, что он исходил их вдоль и поперек. Может, это оттого, что он смотрел на Стамбул как бы глазами отца. Конечно, отец не мог бы увидеть Центра культуры имени Ататюрка, — эта современная стеклянно-бетонная глыба была возведена на много лет спустя после кончины его. Отец умер в пятьдесят шестом. Керим узнал памятник Ататюрку на площади Таксим по давним рассказам отца, который говорил, что в Стамбуле азербайджанцы назначают встречи именно здесь, у этого монумента. Отец некогда, в двадцатые годы, учился в стамбульском вузе, был студентом у Кёпрюлю, Зеки Валида Тогана, Джафароглу, слушал в Чинаралты беседы Ахмеда Хашима, Орхана Сейфи, Фарука Нафиза.

Керим перенял у отца многое, но главных обретенных было три — отец обучил его старому алфавиту, влюбил в волшебную «Книгу Деде-Коркуд» и заворочил неведомой Турцией, украдкой, наедине, с опасливой оглядкой (будто их тесная комнатка на Чадровой улице была напичкана подслушивающими микрофонами), читая ему стихи турецких поэтов, и рассказывая о достопримечательностях Стамбула...

Тем не менее, он не хотел, чтобы Керим стал тюркологом: «Тюркология в Советском Союзе — поприще, находящееся под недреманным оком ЧК, ГПУ, НКВД... Так будет и впредь».

...Порой Кериму казалось, что он ощущает даже вкус йогурта, который некогда отведал отец в Ганлыджа. По вечерам отец нашаривал в эфире Турцию по радиоприемнику Т-6, чем-то напоминавшему мамино пальто-реглан, слушал последние известия или нескончаемые, тягучие мелодии. Иногда и сам подтрунивал над этой «долгоиграющей музыкой»: «Когда приехал в Турцию — услышал по радио длинную песню, проучился два года, еду домой, — а ту песню все еще не допели...»

Керим замечал, что всегда, прослушав Турцию, отец меняет настройку, оставляя стрелку на волне Баку или Москвы. К ним заходили соседи, родня, вообще визитеров хватало, и отец, в тридцать седьмом арестованный и посланный в места не столь отдаленные, был не в меру мнителен, подозревал чуть ли не в каждом приходящем в дом осведомителя и

стукача... Таких он называл «йонджа» — словечко, которое употреблял в семейном кругу, в разговорах с матерью, «Имярек, сдается мне йонджа», «Да, похоже...» Керим впоследствии уразумел этот образный ярлык: «йонджа»<sup>1</sup> — трава как бы вездесущая, потому и энкаведешные стукачи, у которых всегда и везде ушки на макушке, удостоились такого сравнения.

Двух лет обучения Аскера в Стамбуле оказалось достаточно, чтобы прилепить ему клеймо «пантюриста». Он еще хорошо отделался, — не расстреляли, а уехали в ссылку, в Томск. Аскер, владевший в совершенстве арабским, фарси, русским, английским и даже латынью, по счастливному везению или чьему-то тайному благорасположению, смог устроиться на учительскую работу. Ирония судьбы в том, что сей «пантюрист» и «панисламист» преподавал там основы марксизма-ленинизма!

Началась война — и «неблагонадежного» ссыльного учителя уехали в штрафной батальон. На фронте отличился и, благодаря полученным орденам и медалям, смог в сорок шестом вернуться в Баку, к семье. Он продолжал слушать Турцию по «Т-6». Как-то Керим — ему было тогда лет девять-десять — заметил, что после очередного «турецкого» сеанса отец отчего-то забыл перевести настройку — для отвода глаз. Мальчик исправил промашку, покрутил переключатель и поставил указатель на Баку. Отец усталый на сына долгим озорпелым взглядом, потом растроганно привлек к себе и чмокнул в лоб: «Ах ты, мой умница!» До того он лишь однажды поцеловал сына: когда вернулся с войны.

Кериму подумалось, что именно с того дня между ним и отцом возник доверительный контакт: кажется, отец впервые ощутил, что сынишка повзрослел и стал понимать многие вещи. Может, потому и взялся с той поры посвящать его в турецкую поэзию, читая стихи. Кому тогда могло прийти в голову, что в один прекрасный день Керим будет вот так, без всякого «йонджи», недреманного ока, «хвоста» свободно ходить-бродить по стамбульским улицам!

Аскера во второй раз арестовали в начале пятидесятых. Двумя днями раньше на ученом совете учинили расправу над «Книгой Деде-Горгуда»<sup>2</sup>, и на Аскера обрушился грома и молнии Чопур Джаббар. На рябом лице обвинителя громоздился длинный крючковатый нос, под которым топорщились короткие — на манер довоенных райкомовских и исполкомовских чинов — усики, похожие на чернильную кляксу.

— Тебе не удастся отвертеться! — громыхал Чопур Джаббар. — Не ты ли, Аскер, больше всех в республике усердствовал, превознося «Деде-Горгуд»? Имей же мужество, встань и признай свои грехи! И изволь растолковать: какое отношение имеет этот дастан к нам? Когда, скажите на милость, наши предки ели конину и пили кумыс?! Это все ты протаскивал подобную ересь из Турции, — видно, там тебе хо-

рошо запудрили мозги! Ты вот в своей статейке трижды упоминаешь имя Рифата Килисли, ровно семь раз — я подсчитал! — делаешь реверансы Кепрюлю, восемь раз кланяешься в ножки Орхону Шаику<sup>3</sup>...

— Я лишь ссылаюсь на этих ученых, — ответил Аскер устало, но, не выдержав, взорвался: — Иди и «стучи» куда хочешь!

Это слово дорого обошлось ему. Одно слово, из-за которого все пошло прахом. Может, не сорвись оно с уст, дело кончилось бы увольнением, научной опалой. То, что Чопур Джаббар — стукач, было ведомо всем. Но Аскер впервые открыто заявил об этом.

А тот и бровью не повел.

— Я горжусь... горжусь тем, что всегда срывал маску с лица таких врагов народа, как ты... разоблачал, разоблачаю и буду разоблачать!

Ночью родители извлекли из домашней библиотеки кое-какие книги — в их числе и Бартольда, Гордлевского — и сожгли.

Запах горелой бумаги надолго запомнился Кериму, и с тех пор всегда бумажная гарь напоминала ему ту жуткую ночь. Отец еще в молодые годы, возвращаясь домой из Стамбула, привез с собой горсть земли с могилы Тофика Фикрета в Ашияне, и дома эта горсть хранилась в молитвенном узелке матери. В ту ночь отец вспомнил и об этой реликвии, опасаясь, что и она может послужить уликой, но выкинуть на улицу не решился; развязав узелок, высыпал землю в кадучку с фикусом.

Его увели спустя две ночи. Вернулся через два года. Сталин уже умер, Мирджафар Багиров был разоблачен, «Деде-Горгуд» — «реабилитирован», времена менялись. Аскер в Сибири отрастил бороду, «заработал» цингу и потерял зубы. Случилось ему после ссылки встретиться на улице с Чопуром Джаббаром — тот устремился к Аскеру с расплывшейся в заискивающе-жалкой улыбке физиономией, в которую был впечатан смачный плевок...

...Боже, какие фортели выкидывает фортуна! Тот ли это Чопур Джаббар, который... Керим обуздал распалившиеся мрачные мысли. «Перестань! — одернул себя. — Хватит об этом, ради Аллаха! Какого черта!» Стоило ли вспоминать противную рожу стукача в такой дивный майский день, пропитанный головкружительным благоуханием магнолий, когда он спускался от Таксима к ослепительному Босфору!

Отца после ссылки будто подменили. Насколько воодушевленным, бодрым вернулся он с фронта, столь же измученным, изверившимся и потухшим предстал после второй ссылки. Всегда озабоченный, погруженный в гнетущие думы. Похоже, и к работе остыл. Уже и не было ни желания, ни сил допоздна засиживаться за столом при свете лампы с зеленым абажуром, рыться в старых фолиантах, перебирая и разглядывая в лупу ветхие рукописи. Да и турецкое радио перестал слушать. Только когда речь зашла о Стамбуле, однажды

<sup>1</sup> Йонджа (азерб.) — клевер.

<sup>2</sup> «Книга Деде-Горгуда» — азербайджанский эпос, объявленный в 40-х годах антинародным и чуждым.

<sup>3</sup> Р. Килисли, Ф. Кепрюлю, О. Шаик — турецкие ученые-горгудоведы.